Личность царя Алексея Михайловича

Среди западников и старозаветных людей, не принадлежа всецело ни к тем, ни к другим, стоит личность самого царя Алексея Михайловича. Известна мысль, что если бы в период культурного брожения в Московском государстве середины XVII в. московское общество имело такого вождя, каким был Петр Великий, то культурная реформа могла бы совершиться раньше, чем это произошло на самом деле. Но таким вождем царь Алексей быть не мог. Это был прекрасный и благородный, но слишком мягкий и нерешительный человек.

Не такова натура была у царя Алексея Михайловича, чтобы, проникнувшись одной какой-нибудь идеей, он мог энергично осуществлять эту идею, страстно бороться, преодолевать неудачи, всего себя отдать практической деятельности, как отдал себя ей Петр. Сын и отец совсем несходны по характеру; в царе Алексее не было той инициативы, какая отличала характер Петра. Стремление Петра всякую мысль претворить в дело совсем чуждо личности Алексея Михайловича, мирной и созерцательной. Боевая, железная натура Петра вполне противоположна живой, но мягкой натуре ею отца.

Негде было царю Алексею выработать в себе такую крепость духа и воли, какая дана Петру, помимо природы, еще впечатлениями детства и юности. Царь Алексей рос тихо в тереме московского дворца, до пятилетнего возраста окруженный многочисленным штатом мам, а затем, с пятилетнею возраста, переданный на попечение дядьки, известного Бориса Ивановича Морозова. С пяти лет стали его учить грамоте по букварю, перевели затем на Часослов, Псалтирь и Апостольские Деяния; семи лет научили писать, а девяти стали учить церковному пению. Этим собственно и закончилось образование. С ним рядом шли забавы: царевичу покупали игрушки: был у него, между прочим, конь «немец кого дела», были латы, музыкальные инструменты и санки потешные, словом, все обычные предметы детского развлечения. Но была и любопытная для того времени новинка – «немецкие печатные листы», т. е. выгравированные в Германии картинки, которыми Морозов пользовался, говорят, как подспорьем при обучении царевича. Дарили царевичу и книги; из них составилась у него библиотека числом в 13 томов. На 14-м году царевича торжественно объявили народу, а 16-ти лет царевич осиротел (потерял и отца и мать) и вступил на московский престол, не видев ничего в жизни, кроме семьи и дворца. Понятно, как сильно было влияние боярина Морозова на молодого царя: он заменял ему отца.

Дальнейшие годы жизни царя Алексея дали ему много впечатлений и значительный жизненный опыт. Первое знакомство с делом государственного управления, необычные волнения в Москве в 1648 г., когда «государь царь к Спасову образу прикладывался», обещая восставшему «миру» убрать Морозова от дел, «чтобы миром утолилися»; путешествия в Литву и Ливонию в 1654-1655 гг., на театр военных действий, где царь видел у ног своих Смоленск и Вильну и был свидетелем военной неудачи под Ригой, – все это развивающим образом подействовало на личность Алексея Михайловича, определило эту личность, сложило характер. Царь возмужал, из неопытного юноши стал очень определенным человеком, с оригинальной умственной и нравственной физиономией.

Современники искренно любили царя Алексея Михайловича. Самая наружность царя сразу говорила в его пользу и влекла к нему. В его живых голубых глазах светилась редкая доброта; взгляд этих глаз, по отзыву современника, никого не пугал, но ободрял и обнадеживал. Лицо государя, полное и румяное, с русой бородой, было благодушно-приветливо и в то же время серьезно и важно, а полная (потом даже чересчур полная) фигура его сохраняла величавую и чинную осанку. Однако царственный вид Алексея Михайловича ни в ком не будил страха: понимали,

что не личная гордость царя создала эту осанку, а сознание важности и святости сана, который Бог на него возложил.

Привлекательная внешность отражала в себе, по общему мнению, прекрасную душу. Достоинства царя Алексея с некоторым восторгом описывали лица, вовсе от него независимые, – именно далекие от царя и от Москвы иностранцы. Один из них, например, сказал, что Алексей Михайлович «такой государь», какого желали бы иметь все христианские народы, но немногие имеют" (Рейтенфельс). Другой поставил царя «наряду с добрейшими и мудрейшими государями» (Коллинс). Третий отозвался, что «царь одарен необыкновенными талантами, имеет прекрасные качества и украшен редкими добродетелями»; «он покорил себе сердца всех своих подданных, которые столько же любят его, сколько и благоговеют перед ним» (Лизек). Четвертый отметил, что при неограниченной власти своей в рабском обществе царь Алексей не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь (Мейерберг). Эти отзывы получат еще большую цену в наших глазах, если мы вспомним, что их авторы вовсе не были друзьями и поклонниками Москвы и москвичей. Совсем согласно с иноземцами и русский эмигрант Котошихин, сбросивший с себя не только московское подданство, но даже и московское имя, по-своему очень хорошо говорит о царе Алексее, называя его «гораздо тихим».

По-видимому Алексей Михайлович всем, кто имел случай его узнать, казался светлой личностью и всех удивлял своими достоинствами и приятностью. Такое впечатление современников, к счастью, может быть проверено материалом, более прочным и точным, чем мнения и отзывы отдельных лиц, – именно письмами и сочинениями самого царя Алексея. Он очень любил писать и в этом отношении был редким явлением своего времени, очень небогатого мемуарами и памятниками частной корреспонденции. Царь Алексей с необыкновенной охотой сам брался за перо или же начинал диктовать свои мысли дьякам. Его личные литературные попытки не ограничивались составлением пространных, литературно написанных писем и посланий[1]. Он пробовал сочинять даже вирши (несколько строк, «которые могли казаться автору стихами», по выражению В. О. Ключевского). Он составил «Уложение сокольничья пути», т. е. подробный наказ своим сокольникам. Он начинал писать записки о польской войне. Он писал деловые бумаги, имел привычку своеручно поправлять текст и делать прибавки в официальных грамотах, причем не всегда попадал в тень приказного изложения. Значительная часть его литературных попыток дошла до нас, и притом дошло по большей части то, что писал он во времена своей молодости, когда был свежее и откровеннее и когда жил полнее. Этот литературный материал замечательно ясно рисует нам личность государя и вполне позволяет понять, насколько симпатична и интересна была эта личность. Царь Алексей высказывался очень легко, говорил почти всегда без обычной в те времена риторики, любил, что называется, поговорить и пофилософствовать в своих произведениях.

При чтении этих произведений прежде всего бросается в глаза необыкновенная восприимчивость и впечатлительность Алексея Михайловича. Он жадно впитывает в себя, «яко губа напояема», впечатления от окружающей его действительности. Его занимает и волнует все одинаково: и вопросы политики, и военные реляции, и

---

[1] Много писаний царя Алексея издано: 1) И. П. Бартенев «Собрание Писем ц. Алекс. Мих.». М., 1856; 2) «Записки Отделения славянской и русск. археологии имп. Русск. археол. общества», т. 11; 3) «Сборник Моск. архива и М. Ин. Дел», т. V; 4) Соловьев «История России», т. XI и XII. Не раз эти писания вызывали ученых на характеристики Алексея Михайловича. Отметим характеристики С. М. Соловьева (в конце XII т. «Истории России»), И. Е. Забелина (в «Опытах изучения русских древностей и истории»), Н. И. Костомарова (в «Русской истории в жизнеописаниях»), В. О. Ключевского (в «Курсе русской истории», т. III).

смерть патриарха, и садоводство, и вопрос о том, как петь и служить в церкви, и соколиная охота, и театральные представления, и убийство пьяного монаха в его любимом монастыре… Ко всему он относится одинаково живо, все действует на него одинаково сильно: он плачет после смерти патриарха и доходит до слез от выходок монастырского казначея. «До слез стало! видит чюдотворец (Савва), что во мгле хожу», – пишет он этому ничтожному казначею Саввина монастыря. В увлечении тем или иным предметом царь не делает видимого различия между важным и неважным. О поражении своих войск и о монастырской драке пишет он с равным одушевлением и вниманием. Описывая своему двоюродному брату (по матери) Аф. Ив. Матюшкину бой при г. Валке 19 июня 1657 г., царь пишет: «Брат! буди тебе ведомо: у Матвея Шереметева был бой с немецкими людьми. И дворяне издрогали и побежали все, а Матвей остался в отводе и сорвал немецких людей. Да навстречю иные пришли роты, и Матвей напустил и на тех с небольшими людми, да лошадь повалилась, так его и взяли! А людей наших всяких чинов 51 человек убит да ранено 35 человек. И то благодарю Бога, что от трех тысяч голов столько побито, а то все целы, потому, что побежали; а сами плачют, что так грех учинился!.. А с кем бой был, и тех немец всего было две тысячи; наших и больше было, да так грех пришел. А о Матвее не тужи: будет здоров, вперед ему к чести! Радуйся, что люди целы, а Матвей будет по-прежнему». Царь сочувствует храброму Шереметеву и радуется, что целы благодаря бегству его «издрогавшие» люди. Позор поражения он готов объяснить «грехом» и не только не держит гнева на виновных, но душевно жалеет их. Ту же степень внимания, только не сочувственного, царь уделяет и подвигам помянутого Саввинского казначея Никиты, который стрелецкого десятника, поставленного в монастыре, зашиб посохом в голову, а оружие, седла и зипуны стрелецкие велел выметать вон за двор. Царь составил Никите послание (вместо простой приказной грамоты) «От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси врагу Божию, богоненавистцу и христопродавцу и разорителю чюдотворцова дома (т. е. Саввина монастыря) и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею казначею Никите». В этом послании Алексей Михайлович спрашивал Никиту: «Кто тебя, сиротину; спрашивал над домом чюдотворцовым да и надо мною, грешным, властвовать? кто тебе сию власть мимо архимандрита дал, что тебе без его ведома стрельцов и мужиков моих Михайловских бить?» Так как Никита счел себе бесчестием, что стрельцы расположились у его кельи, то царь обвинил монаха в сатанинской гордости и восклицал: «Дорого добре, что у тебя, скота, стрельцы стоят! лучше тебя и честнее тебя и у митрополитов стоят стрельцы по нашему указу!… дороги ль мы пред Богом с тобою и дороги ль наши высокосердечныя мысли, доколе отвращаемся, доколе не всею душою и не всем сердцем заповеди Его творим?!» За самоуправство царь налагал на монаха позорное наказание: с цепью на шее и в кандалах Никиту стрельцы должны были снести в его келью после того, как ему «пред всем собором» прочтут царскую грамоту. А за «роптание спесивое» царь грозил монаху жаловаться на него чудотворцу и просить суда и обороны пред Богом.

Так живо и сильно, доходя до слез и до «мглы» душевной, переживал царь Алексей Михайлович все то, что забирало его за сердце. И не только исключительные события его личной и государственной жизни, но и самые обыкновенные частности повседневного быта легко поднимали его впечатлительность, доводя ее порою до восторга, до гнева, до живой жалости. Среди серьезных писем к Аф. Ив. Матюшкину есть одно – все сплошь посвященное двум молодым соколам и их пробе на охоте. Алексей Михайлович с восторгом описывает, как он «отведывал» этих «дикомытов» и как один из них и «безмерно каково хорошо летел» и «милостию Божией и твоими (Матюшкина) молитвами и счастием» отлично «заразил» утку: «Как ее мякнет по шее, так она десятью перекинулась» (т. е.

десять раз перевернулась при падении)! В деловой переписке с Матюшкиным царь не упускает сообщать ему и такую малую, например, новость: «Да на нашем стану в селе Таинском новый сокольник Мишка Семенов сидел у огня да, вздремав, упал в огонь, и ево из огня вытащили, немного не сгорел, а как в огонь упал, и того он не слыхал». Во время морового поветрия 1654-1655 гг. царь уезжал от своей семьи на войну и очень беспокоился о своих родных. «Да для Христа, государыни мои, оберегайтесь от заморнова ото всякой вещи, – писал он своим сестрам, – не презрите прошения нашего!» Но в то самое время, когда война и мор, казалось, сполна занимали ум Алексея Михайловича и он своим близким с тоскою в письмах «от мору велел опасатца», он не удержался, чтобы не описать им поразившее его в Смоленске весеннее половодье. «Да буди нам ведомо, – пишет он, – на Днепре был мост 7 сажен над водою; и на Фоминой неделе прибыло столько, что уже с мосту черпают воду; а чаю, и поиметь (мост)»… Рассказывают, будто бы однажды в докладе царю из кормового дворца было указано, что квасы, которые там варили на царский обиход, не удались: один сорт кваса вышел так плох, что разве только стрельцам споить. Алексей Михайлович обиделся за своих стрельцов и на докладе раздраженно указал докладчику: «Сам выпей!»

Мудрено ли, что такой живой и восприимчивый человек, как царь Алексей, мог быть очень вспыльчив и подвижен на гнев. Несмотря на внешнее добродушие и действительную доброту, Алексей Михайлович по живости духа нередко давал волю своему неудовольствию, гневался, бранился и даже дрался. Мы видели, как он бранил «сиротину» монаха за его грубые претензии. Почти так же доставалось от «гораздо тихаго» царя и людям высших чинов и более высокой породы. В 1658 г., недовольный князем Ив. Ан. Хованским за его местническое высокомерие и за ссору с Аф. Лавр. Ординым-Нащокиным, Алексей Михайлович послал сказать ему царский выговор с такими, между прочим, выражениями: «Тебя, князя Ивана, взыскал и выбирал за службу великий государь, а то тебя всяк называл дураком, и тебе своею службою возноситься не надобно; …великий государь велел тебе сказать имянно, что за непослушание и за Афанасия (Ордина-Нащокина) тебе и всему роду твоему быть разорену». В другой раз (1660 г.), сообщая Матюшкину о поражении этого своего «избранника» князя Хованского-Тараруя, царь виною поражения выставлял «ево беспутную дерзость» и с горем признавался, что из-за военных тревог сам он «не ходил на поле тешиться июня с 15 числа июля по 5 число, и птичей промысл поизмешался». Несмотря, однако, на беспутную дерзость и «дурость» князя Хованского, Алексей Михайлович продолжал его держать у дел до самой своей кончины: вероятно, «тарарую» (т. е. болтун) и «дурак» обладал и положительными деловыми качествами. (Надобно вспомнить, что в ужасные дни стрелецкого бунта 1682 г. правительство решилось поставить именно этого тараруя во главе Стрелецкого приказа). Еще крепче, чем Хованскому, писал однажды царь Алексей Михайлович «врагу креста Христова и новому Ахитофелу князь Григорью Ромодановскому». За малую, по-видимому, вину (не отпустил вовремя солдат к воеводе С. Змееву) царь послал ему такие укоры: «Воздаст тебе Господь Бог за твою к нам, великому государю, прямую сатанинскую службу!… И ты дело Божие и наше государево потерял, потеряет тебя самого Господь Бог!… И сам ты, треокаянный и бесславный ненавистник рода христианского – для того, что людей не послал, – и нам верный изменник и самого истинного сатаны сын и друг диаволов, впадешь в бездну преисподнюю из неяже никто не возвращался… Вконец ведаем, завистниче и верный наш непослушниче, как то дело ухищренным и злопронырливым умыслом учинил; а товарища твоего, дурака и худого князишка, пытать велим, а страдника Климку велим повесить. Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди свои на востоке и на западе и на юге и на севере правду; и мы Божии дела и наши государевы на всех странах полагаем – смотря по человеку, а не

всех стран дела тебе одному, ненавистнику, делать, для того: невозможно естеству человеческому на все страны делать, один бес на все страны мещется!…» Но, отругав на этот раз князя Гр. Гр. Ромодановского, царь в другое время шлет ему милостивое «повеление» в виде виршей:

"Рабе Божий! дерзай о имени Божии
И уповай всем сердцем: подаст Бог победу!
И любовь и совет великой имеей с Брюховецким.
А себя и людей Божиих и наших береги крепко"

и т. д.

Стало быть, и Ромодановский, как Хованский, не всегда казался царю достойным хулы и гнева. Вспыльчивый и бранчливый, Алексей Михайлович был, как видим, в своем гневе непостоянен и отходчив, легко и искренно переходя от брани к ласке. Даже тогда, когда раздражение государя достигало высшего предела, оно скоро сменялось раскаянием и желанием мира и покоя. В одном заседании Боярской думы, вспыхнув от бестактной выходки своего тестя боярина И. Д. Милославского, царь изругал его, побил и пинками вытолкал из комнаты. Гнев царя принял такой крутой оборот, конечно, потому, что Милославского по его свойствам и вообще нельзя было уважать. Однако добрые отношения между тестем и зятем от того не испортились: оба они легко забыли происшедшее. Серьезнее был случай со старым придворным человеком, родственником царя по матери, Родионом Матвеевичем Стрешневым, о котором Алексей Михайлович был высокого мнения. Старик отказался, по старости, оттого, чтобы вместе с царем «отворить» себе кровь. Алексей Михайлович вспылил, потому что отказ представился ему высокоумием и гордостью, – и ударил Стрешнева. А потом он не знал, как задобрить и утешить почитаемого им человека, просил мира и слал ему богатые подарки.

Но не только тем, что царь легко прощал и мирился, доказывается его душевная доброта. Общий голос современников называет его очень добрым человеком. Царь любил благотворить. В его дворце, в особых палатах, на полном царском иждивении жили так называемые «верховые (т. е. дворцовые) богомольцы», «верховые нищие» и «юродивые». "Богомольцы были древние старики, почитаемые за старость и житейский опыт, за благочестие и мудрость. Царь в зимние вечера слушал их рассказы про старое время о том, что было «за тридцать и за сорок лет и больши». Он покоил их старость так же, как чтил безумие, Христа ради, юродивых, делавшее их неумытными и бесстрашными обличителями и пророками в глазах всего общества тою времени. Один из таких юродивых, именно, Василий Босой, или «Уродивый», играл большую роль при царе Алексее как его советник и наставник. О «брате нашем Василии» не раз встречаются почитательные упоминания в царской переписке. Опекая подобный люд при жизни, царь устраивал «богомольцам» и «нищим» торжественные похороны после их кончины и в их память учреждал «кормы» и раздавал милостыню по церквам и тюрьмам. Такая же милостыня шла от царя и по большим праздникам; иногда он сам обходил тюрьмы, раздавая подаяние «несчастным». В особенности перед «великим» или «светлым» днем Св. Пасхи, на «страшной» неделе, посещал царь тюрьмы и богадельни, оделял милостыней и нередко освобождал тюремных «сидельцев», выкупал неоплатных должников, помогал неимущим и больным. В обычные для той эпохи рутинные формы «подачи» и «корма» нищим Алексей Михайлович умел внести сознательную стихию любви к добру и людям.

Не одна нищета и физические страдания трогали царя Алексея Михайловича. Всякое горе, всякая беда находили в его душе отклик и сочувствие. Он был способен и склонен к самым теплым и деликатным дружеским утешениям, лучше всего

рисующим его глубокую душевную доброту. В этом отношении замечательны его знаменитые письма к двум огорченным отцам: князю Никите Ивановичу Одоевскому и Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину об их сыновьях. У кн. Одоевского умер внезапно его «первенец», взрослый сын князь Михаил в то время, когда его отец был в Казани. Царь Алексей сам особым письмом известил отца о горькой потере. Он начал письмо похвалами почившему, причем выразил эти похвалы косвенно – в виде рассказа о том, как чинно и хорошо обходились князь Михаил и его младший брат князь Федор с ним, государем, когда государь был у них в селе Вешнякове. Затем царь описал легкую и благочестивую кончину князя Михаила: после причастия он «как есть уснул; отнюдь рыдания не было, ни терзания». Светлые тоны описания здесь взяты были, разумеется, нарочно, чтобы смягчить первую печаль отца. А потом следовали слова утешения, пространные, порой прямо нежные слова. В основе их положена та мысль, что светлая кончина человека без страданий, «в добродетели и в покаянии добре», есть милость Господня, которой следует радоваться даже и в минуты естественного горя. «Радуйся и веселися, что Бог совсем свершил, изволил взять с милостию своею; и ты принимай с радостию сию печаль, а не в кручину себе и не в оскорбление». «Нельзя, что не поскорбеть и не прослезиться, – и прослезиться надобно, да в меру, чтоб Бога наипаче не прогневать!» Не довольствуясь словесным утешением, Алексей Михайлович пришел на помощь Одоевским и самым делом: принял на себя и похороны. «На все погребальные я послал, – пишет он, – сколько Бог изволил, потому что впрямь узнал и проведал про вас, что опричь Бога на небеси, а на земли опричь меня, ни у ково у вас нет»[2]. В конце утешительного послания царь своеручно прописал последние ласковые слова: «Князь Никита Иванович! не оскорбляйся, токмо уповай на Бога и на нас будь надежен!»

Горе А. Л. Ордина-Нащокина, по мнению Алексея Михайловича, было горше, чем утрата кн. Н. И. Одоевского. По словам царя, «тебе, думному дворянину, больше этой беды вперед уже не будет: больше этой беды на свете не бывает!» У Ордина-Нащокина убежал за границу сын, по имени Воин, и убежал, как изменник, во время служебной поездки с казенными деньгами, «со многими указами о делах и с ведомостями». На просьбу пораженного отца об отставке царь послал ему «от нас, великаго государя, милостивое слово». Это слово было не только милостиво, но и трогательно. После многих похвальных эпитетов «христолюбцу и миролюбцу, нищелюбцу и трудолюбцу» Афанасию Лаврентьевичу царь тепло говорит о своем сочувствии не только ему, Афанасию, но и его супруге в «их великой скорби и туге». Об отставке своего «добраго ходатая и желателя» он не хочет и слышать, потому что не считает отца виновным в измене сына. Царь и сам доверял изменнику, как доверял ему отец: «Будет тебе, верному рабу Христову и нашему, сына твоего дурость ставить в ведомство и соглашение твое ему! и он, простец, и у нас, великаго государя, тайно был, и не по одно время, и о многих делах с ним к тебе приказывали, а такова простоумышленнаго яда под языком его не видали!» Царь даже пытается утешить отца надеждой на возвращение не изменившего якобы, а только увлекшегося юноши. «Атому мы, великий государь, не подивляемся, что сын твой сплутал: знатно то, что с малодушия то учинил. Он человек молодой, хощет создания Владычня и творения руку Его видеть на сем свете; якоже и птица летает семо и овамо и, полетав довольно, паки ко гнезду своему прилетает: так и сын ваш вспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание от Святого Духа во святой купели, и к вам вскоре возвратится!» Какая доброта и какой такт

---

[2] Это место письма имеет, по-видимому, какой-то особый смысл. Семья этих князей Одоевских далеко не была бедна.

диктовали эти золотые слова утешения в беде, больше которой «на свете не бывает!» И царь оказался прав: Афанасьев «сынишка Войка» скоро вернулся из дальних стран во Псков, а оттуда в Москву, и Алексей Михайлович имел утешение написать Аф. Л. Ордину-Нащокину, что за его верную и радетельную службу он пожаловал сына его, вины отдал, велел свои очи видеть и написать по московскому списку с отпуском на житье в отцовские деревни.

Живая, впечатлительная, чуткая и добрая натура Алексея Михайловича делала его очень способным к добродушному веселью и смеху. Склонностью к юмору он напоминает своего гениального сына Петра; оба они любили пошутить и словом и делом. Среди писем к Матюшкину есть одно, написанное «тарабарски», нелегким для чтения шрифтом и сочиненное только затем, чтобы подразнить Матюшкина шутливым замечанием, что когда его нет, то некому царя покормить плохим хлебом «с закалою». «А потом буди здрав», – милостиво заключает царь свой намек на какую-то кулинарную оплошность его любимца. Другое письмо к Матюшкину все сплошь игриво. Царь пишет из «подхода» и начинает поручением устроить маленький обман его сестер-царевен: «Нарядись в ездовое (дорожное) платье да съезди к сестрам, будто бы от меня приехал, да спрошай о здоровьи». Матюшкину, стало быть, приказано просто лгать царевнам, что он лично прибыл в Москву из того подмосковного «потешного» села, где тогда жил государь. Вслед за этим поручением царь Алексей сообщает Матюшкину: «Тем утешаюся, что столников беспрестани купаю ежеутрь в пруде… за то: кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю!» Очевидно, эта утеха не была жестокой, так как стольники на нее видимо напрашивались сами. Государь после купанья в отличие звал их к своему столу: «У меня купальщики те ядят вдоволь, – продолжает царь Алексей, – а иные говорят: мы де нароком не поспеем, так де и нас выкупают да и за стол посадят. Многие нароком не поспевают». Так тешился «гораздо тихий» царь, как бы преобразуя этим невинным купаньем стольников жестокие издевательства его сына Петра над вольными и невольными собутыльниками. Само собой приходит на ум и сравнение известной «книги, глаголемой Урядник сокольничья пути» царя Алексея с не менее известными церемониалами «всешутейшего собора» Петра Великого. Насколько «потеха» отца благороднее «шутовства» сына, и насколько острый цинизм последнего ниже целомудренной шутки Алексея Михайловича! Свой шутливый охотничий обряд, «чин» производства рядового сокольника в начальные, царь Алексей обставил нехитрыми символическими действиями и тарабарскими формулами, которые по наивности и простоте немногого стоят, но в основе которых лежит молодой и здоровый охотничий энтузиазм и трогательная любовь к красоте причьей природы. Тогда как у царя Петра служение Бахусу и Ивашке Хмельницкому приобретало характер культа, в «Уряднике» царя Алексея «пьянство» сокольника было показано в числе вин, за которые «безо всякие пощады быть сосланы на Лену». Разработав свой «потешный» чин производства в сокольники и отдав в нем дань своему веселью, царь Алексей своеручно написал на нем характерную оговорку: «Правды же и суда и милостивыя любви и ратного строя николиже позабывайте: делу время и потехе час!» Уменье соединять дело и потеху заметно у царя Алексея и в том отношении, что он охотно вводил шутку в деловую сферу. В его переписке не раз встречаем юмор там, где его не ждем. Так, сообщая в 1655 г. своему любимцу «верному и избранному» стрелецкому голове А. С. Матвееву разного рода деловые вести, Алексей Михайлович, между прочим, пишет: «Посланник приходил от шведскаго Карла короля, думный человек, а имя ему Уддеудла. Таков смышлен: и купить его, то дорого дать что полтина, хотя думный человек; мы, великий государь, в десять лет впервые видим такого глупца посланника!» Насмешливо отозвавшись вообще о ходах шведской дипломатии, царь продолжает: «Тако нам, великому государю, то честь, что король прислал обвестить посланника, а и думнаго человека.

Хотя и глуп, да что же делать? така нам честь!» В 1656 г. в очень серьезном письме сестрам из Кокенгаузена царь сообщал им подробности счастливого взятия этого крепкого города и не удержался от шутливо-образного выражения: «А крепок безмерно: ров глубокой – меншей брат нашему Кремлевскому рву; а крепостию – сын Смоленску граду: ей, чрез меру крепок!» Частная, неделовая переписка Алексея Михайловича изобилует такого рода шутками и замечаниями. В них нет особого остроумия и меткости, но много веселого благодушия и наклонности посмеяться.

Такова была природа царя Алексея Михайловича, впечатлительная и чуткая, живая и мягкая, общительная и веселая. Эти богатые свойства были в духе того времени обработаны воспитанием. Алексея Михайловича приучили к книге и разбудили в нем умственные запросы. Склонность к чтению и размышлению развила светлые стороны натуры Алексея Михайловича и создала из него чрезвычайно привлекательную личность. Он был один из самых образованных людей московского общества того времени: следы его разносторонней начитанности, библейской, церковной и светской, разбросаны во всех его произведениях. Видно, что он вполне овладел тогдашней литературой и усвоил себе до тонкости книжный язык. В серьезных письмах и сочинениях он любит пускать в ход цветистые книжные обороты, но, вместе с тем, он не похож на тогдашних книжников-риторов, для красоты формы жертвовавших ясностью и даже смыслом. У царя Алексея продуман каждый его цветистый афоризм, из каждой книжной фразы смотрит живая и ясная мысль. У него нет пустословия: все, что он прочел, он продумал; он, видимо, привык размышлять, привык свободно и легко высказывать то, что надумал, и говорил притом только то, что думал. Поэтому его речь всегда искренна и полна содержания. Высказывался он чрезвычайно охотно, и потому его умственный облик вполне ясен.

Чтение образовало в Алексее Михайловиче очень глубокую и сознательную религиозность. Религиозным чувством он был проникнут весь. Он много молился, строго держал посты и прекрасно знал все церковные уставы. Его главным духовным интересом было спасение души. С этой точки зрения он судил и других. Всякому виновному царь при выговоре непременно указывал, что он своим проступком губит свою душу и служит сатане. По представлению, общему в то время, средство ко спасению души царь видел в строгом последовании обрядности и поэтому сам очень строго соблюдал все обряды. Любопытно прочесть записки дьякона Павла Алеппского, который был в России в 1655 г. с патриархом Макарием Антиохийским и описал нам Алексея Михайловича в церкви среди клира. Из этих записок всего лучше видно, какое значение придавал царь обрядам и как заботливо следил за точным их исполнением. Но обряд и аскетическое воздержание, к которому стремились наши предки, не исчерпывали религиозного сознания Алексея Михайловича. Религия для него была не только обрядом, но и высокой нравственной дисциплиной: будучи глубоко религиозным, царь думал вместе с тем, что не грешит, смотря комедию и лаская немцев. В глазах Алексея Михайловича театральное представление и общение с иностранцами не были грехом и преступлением против религии, но совершенно позволительным новшеством, и приятным, и полезным. Однако при этом он ревниво оберегал чистоту религии и, без сомнения, был одним из православнейших москвичей; только его ум и начитанность позволяли ему гораздо шире понимать православие, чем понимало его большинство его современников. Его религиозное сознание шло, несомненно, дальше обряда: он был философ-моралист, и его философское мировоззрение было строго-религиозным. Ко всему окружающему он относился с высоты своей религиозной морали, и эта мораль, исходя из светлой, мягкой и доброй души царя, была не сухим кодексом отвлеченных нравственных правил, суровых и безжизненных, а звучала мягким, прочувственным, любящим словом, сказывалась полным ясного житейского смысла

теплым отношением к людям. Склонность к размышлению и наблюдению, вместе с добродушием и мягкостью природы, выработали в Алексее Михайловиче замечательную для того времени тонкость чувства, поэтому и его мораль высказывалась иногда поразительно хорошо, тепло и симпатично, особенно тогда, когда ему приходилось кого-нибудь утешать. Высокий образец этой трогательной морали представляет упомянутое выше письмо царя к князю Ник. Ив. Одоевскому о смерти его старшего сына, князя Михаила. В этом письме ясно виден человек чрезвычайно деликатный, умеющий любить и понимать нравственный мир других, умеющий и говорить, и думать, и чувствовать очень тонко. Та же тонкость понимания и способность дать нравственную оценку своему положению и своим обязанностям сказывается в замечательном «статейном списке», или письме Алексея Михайловича к Никону, митрополиту Новгородскому, с описанием смерти патриарха Иосифа. Вряд ли Иосиф пользовался действительно любовью царя и имел в его глазах большой нравственный авторитет. Но царь считал своей обязанностью чтить святителя и относиться к нему с должным вниманием, поэтому он окружил больного патриарха своими заботами, посещал его, присутствовал даже при его агонии, участвовал в чине его погребения и лично самым старательным образом переписал «келейную казну» патриарха, «с полторы недели ежедень ходил» в патриаршие покои как душеприказчик. Во всем этом Алексей Михайлович и дает добровольный отчет Никону, предназначенному уже в патриархи всея Руси. Надобно, прочитать сплошь весь царский «статейный список», чтобы в полной мере усвоить его своеобразную прелесть. Описание последней болезни патриарха сделано чрезвычайно ярко с полной реальностью, причем царь сокрушается, что упустил случай по московскому обычаю напомнить Иосифу о необходимости предсмертных распоряжений. «И ты меня, грешнаго, прости (пишет он Никону), что яз ему не воспомянул о духовной и кому душу свою прикажет». Царь пожалел пугать Иосифа, не думая, что он уже так плох: «Мне молвить про духовную-то, и помнит: вот де меня избывает!» Здесь личная деликатность заставила царя Алексея отступить от жестокого обычая старины, когда и самим царям в болезни их дьяки поминали «о духовной». Умершего патриарха вынесли в церковь, и царь пришел к его гробу в пустую церковь в ту минуту, когда можно было глазом видеть процесс разложения в трупе («безмерно пухнет», «лицо розно пухнет»). Царь Алексей испугался: «И мне прииде, – пишет он, – помышление такое от врага: побеги де ты вон, тотчас де тебя, вскоча, удавит!.. И я, перекрестясь, да взял за руку его, света, и стал целовать, а во уме держу то слово: от земли создан, и в землю идет; чего боятися?.. Тем себя и оживил, что за руку-то его с молитвой взял!» Во время погребения патриарха случился грех: «Да такой грех, владыка святый: погребли без звону!.. а прежних патриархов с звоном погребали». Лишь сам царь вспомнил, что надо звонить, так уже стали звонить после срока. Похоронив патриарха, Алексей Михайлович принялся за разбор личного имущества патриаршего с целью его благотворительного распределения; кое-что из этого имущества царь и распродал. Самому царю нравились серебряные «суды» (посуда) патриарха, и он, разумеется, мог бы их приобрести для себя: было бы у него столько денег, «что и вчетверо цену-то дать», по его словам. Но государя удержало очень благородное соображение: «Да и в том меня, владыко святый, прости (пишет царь Никону): немного и я покусился иным судам, да милостию Божиею воздержался и вашими молитвами святыми. Ей-ей, владыко святый, се от Бога грех, се от людей зазорно, а се какой я буду прикащик: самому мне (суды) имать, а деньги мне платить себе ж?!» Вот с какими чертами душевной деликатности, нравственной щекотливости и совестливости выступает перед нами самодержец XVII в., боящийся греха от Бога и зазора от людей и подчиняющий христианскому чувству свой суеверный страх!

То же чувство деликатности, основанной на нравственной вдумчивости,

сказывается в любопытнейшем выговоре царя воеводе князю Юрию Алексеевичу Долгорукому. Долгорукий в 1658 г. удачно действовал против Литвы и взял в плен гетмана Гонсевского. Но его успех был следствием его личной инициативы: он действовал по соображению с обстановкой, без спроса и ведома царского. Мало того, он почему-то не известил царя вовремя о своих действиях и главным образом об отступлении от Вильны, которое в Москве не одобрили. Выходило так, что за одно надлежало Долгорукого хвалить, а за другое порицать. Царь Алексей находил нужным официально выказать недовольство поведением Долгорукого, а неофициально послал ему письмо с мягким и милостивым выговором. «Похваляем тебя без вести (т. е. без реляции Долгорукого) и жаловать обещаемся», – писал государь, но тут же добавлял, что эта похвала частная и негласная: «И хотим с милостивым словом послать и с иною нашею государевою милостию, да нельзя послать: отписки от тебя нет, неведомо, против чего писать тебе!» Объяснив, что Долгорукий сам себе устроил «бесчестье», царь обращается к интимным упрекам: «Ты за мою, просто молвить, милостивую любовь ни одной строки не писывал ни о чем! Писал к друзьям своим, а те – ей, ей! – про тебя же переговаривают да смеются, как ты торопишься, как и иное делаешь… Чаю, что князь Никита Иванович (Одоевский) тебя подбил; и его было слушать напрасно: ведаешь сам, какой он промышленник! послушаешь, как про него поют на Москве»… Но одновременно с горькими укоризнами царь говорит Долгорукому и ласковые слова: «Тебе бы о сей грамоте не печалиться: любя тебя пишу, а не кручинясь; а сверх того сын твой скажет, какая немилость моя к тебе и к нему!… Жаль конечно тебя: впрямь Бог хотел тобою всякое дело в совершение не во многие дни привести… да сам ты от себя потерял!» В заключение царь жалует Долгорукого тем, что велит оставить свой выговор втайне: «А прочтя сию нашу грамоту и запечатав, прислать ее к нам с тем же, кто к тебе с нею приедет». Очень продуманно, деликатно и тактично это желание царя Алексея добрым интимным внушением смягчить и объяснить официальное взыскание с человека, хотя и заслуженного, но формально провинившегося.

Во всех посланиях царя Алексея Михайловича, подобных приведенному, где царю приходилось обсуждать, а иногда и осуждать поступки разных лиц, бросается в глаза одна любопытная черта. Царь не только обнаруживает в себе большую нравственную чуткость, но он умеет и любит анализировать: он всегда очень пространно доказывает вину, объясняет, против кого и против чего именно погрешил виновный и насколько сильно и тяжко его прегрешение. Характернейший образец подобных рассуждений находим в его обращении к князю Григорию Семеновичу Куракину с выговором за то, что он (в 1668 г.) не поспешил на выручку гарнизонам Нежина и Чернигова. Царь упрекнул Куракина в недомыслии, в том, что он «притчею не промыслит, что будет» вследствие его промедления. «То будет (объясняет царь воеводе): первое – Бога прогневает… и кровь напрасно многую прольет; второе – людей потеряет и страх на людей наведет и торопость, третье – от великаго государя гнев примет; четвертое – от людей стыд и срам, что даром людей потерял; пятое – славу и честь, на свете Богом дарованную, непристойным делом… отгонит от себя и вместо славы укоризны всякия и неудобные переговоры восприимет. И то все писано к нему, боярину (заключает Алексей Михайлович), хотя добра святой и восточной церкви и чтобы дело Божие и его государево свершалось в добром полководстве, а его, боярина, жалуя и хотя ему чести и жалея его старости!» Наблюдения над такими словесными упражнениями приводят к мысли, что царь Алексей много и основательно размышлял. И это размышление состояло не в том только, что в уме Алексея Михайловича послушно и живо припоминались им читанные тексты и чужие мысли, подходящие внешним образом к данному времени и случаю. Умственная работа приводила его к образованию собственных взглядов на мир и людей, а равно и общих нравственных понятий,

которые составляли его собственное философско-нравственное достояние. Конечно, это не была система мировоззрения в современном смысле; тем не менее в сознании Алексея Михайловича был такой отчетливый моральный строй и порядок, что всякий частный случай ему легко было подвести под его общие понятия и дать ему категорическую оценку. Нет возможности восстановить в общем содержании и системе этот душевный строй, прежде всего потому, что и сам его обладатель никогда не заботился об этом. Однако для примера укажем хотя бы на то, что, исходя из религиозно-нравственных оснований, Алексей Михайлович имел ясное и твердое понятие о происхождении и значении царской власти в Московском государстве как власти богоустановленной и назначенной для того, чтобы «рассуждать людей вправду» и «беспомощным помогать». Уже были выше приведены слова царя Алексея князю Гр. Ромодановскому: «Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди своя на востоке и на западе и на юге и на севере вправду». Для царя Алексея это была не случайная красивая фраза, а постоянная твердая формула его власти, которую он сознательно повторял всегда, когда его мысль обращалась на объяснение смысла и цели его державных полномочий. В письме к князю Н. И. Одоевскому, например, царь однажды помянул о том, «как жить мне, государю, и вам, боярам», и на эту тему писал: «А мы, великий государь, ежедневно просим у Создателя … чтобы Господь Бог… даровал нам, великому государю, и вам, боярам, с нами единодушно люди Его, Световы, рассудити вправду, всем равно». Взятый здесь пример имеет цену в особенности потому, что для историка в данном случае ясен источник тех фраз царя Алексея, в которых столь категорически нашла себе определение, впервые в Московском государстве, идея державной власти. Свои мысли о существе царского суждения Алексей Михайлович черпал, по-видимому, из чина царского венчания или же непосредственно из главы 9-й Книги Премудрости Соломона. Не менее знаменательным кажется и отношение царя к вопросу о внешнем принуждении в делах веры. С заметной твердостью и смелостью мысли, хотя и в очень сдержанных фразах, царь пишет по этому вопросу митрополиту Никону, которого авторитет он ставил в те годы необыкновенно высоко. Он просит Никона не томить в походе монашеским послушанием сопровождавших его светских людей, «не заставливай у правила стоять: добро, государь владыко святый, учить премудра – премудрее будет, а безумному – мозолие ему есть!». Он ставит Никону на вид слова одного из его спутников, что Никон «никого де силою не заставит Богу веровать». При всем почтении к митрополиту, «не в пример святу мужу», Алексей Михайлович видимо разделяет мысли не согласных с Никоном и терпевших от него подневольных постников и молитвенников. Нельзя силой заставить Богу веровать – это по всей видимости убеждение самого Алексея Михайловича.

При постоянном религиозном настроении и напряженной моральной вдумчивости Алексей Михайлович обладал одной симпатичной чертой, которая, казалось бы, мало могла уживаться с его аскетизмом и наклонностью к отвлеченному наставительному резонерству. Царь Алексей был весьма эстетичен – в том смысле, что любил и понимал красоту. Его эстетическое чувство сказывалось ярче всего в страсти к соколиной охоте, а позже – к сельскому хозяйству. Кроме прямых ощущений охотника и обычных удовольствий охоты с ее азартом и шумным движением, соколиная потеха удовлетворяла в царе Алексее и чувству красоты. В «Уряднике сокольничья пути» он очень тонко рассуждает о красоте разных охотничьих птиц, о прелести птичьего лета и удара, о внешнем изяществе своей охоты. Для него «его государевы красныя и славные птичьи охоты» урядство или порядок «уставляет и объявляет красоту и удивление»; высокого сокола лет – «красносмотрителен и радостен»; копцова (т. е. копчика) добыча и лет – «добро-виден». Он следит за красотой сокольничьего наряда и оговаривает, чтобы нашивка

на кафтанах была «золотная» или серебряная: «к какому цвету какая пристанет»; требует, чтобы сокольник держал птицу «подъявительно к видению человеческому и ко красоте кречатьей», т. е. так, чтобы ее рассмотреть было удобно и красиво. Элемент красоты и изящества вообще играет не последнюю роль в «урядстве» всего охотничьего чина царя Алексея. То же чувство красоты заставляло царя увлекаться внешним благочестием церковного служения и строго следить за ним, иногда даже нарушая его внутреннюю чинность для внешней красоты. В записках Павла Алеппского можно видеть много примеров тому, как царь распоряжался в церкви, наводя порядок и красоту в такие минуты, когда, по нашим понятиям, ему надлежало бы хранить молчание и благоговение. Не только церковные церемонии, но и парады придворные и военные необыкновенно занимали Алексея Михайловича с точки зрения «чина» и «урядства», т. е. внешнего порядка, красоты и великолепия. Он, например, с чрезвычайным усердием устраивал смотры и проводы своим войскам перед первым литовским походом, обставляя их торжественным и красивым церемониалом. Большой эстетический вкус царя сказывался в выборе любимых мест: кто знает положение Саввина-Сторожевского монастыря в Звенигороде, излюбленного царем Алексеем Михайловичем, тот согласится, что это одно из красивейших мест всей Московской губернии; кто был в селе Коломенском, тот помнит, конечно, тамошние прекрасные виды с высокого берега Москвы-реки. Мирная красота этих мест – обычный тип великорусского пейзажа – так соответствует характеру «гораздо тихаго» царя.

Соединение глубокой религиозности и аскетизма с охотничьими наслаждениями и светлым взглядом на жизнь не было противоречием в натуре и философии Алексея Михайловича. В нем религия и молитва не исключали удовольствий и потех. Он сознательно позволял себе свои охотничьи и комедийные развлечения, не считал их преступными, не каялся после них. У него и на удовольствия был свой особый взгляд. «И зело потеха сия полевая утешает сердца печальныя, – пишет он в наставлении сокольникам. – Будите охочи, забавляйтеся, утешайтеся сею доброю потехою… да не одолеют вас кручины и печали всякия». Таким образом, в сознании Алексея Михайловича охотничья потеха есть противодействие печали, и подобный взгляд на удовольствия не случайно соскользнул с его пера: по мнению царя, жизнь не есть печаль, и от печали нужно лечиться, нужно гнать ее – так и Бог велел. Он просит Одоевского не плакать о смерти сына: «Нельзя, что не поскорбеть и не прослезиться, и прослезиться надобно – да в меру, чтобы Бога наипаче не прогневать». Но если жизнь – не тяжелое, мрачное испытание, то она для царя Алексея и не сплошное наслаждение. Цель жизни – спасение души, и достигается эта цель хорошей благочестивой жизнью; а хорошая жизнь, по мнению царя, должна проходить в строгом порядке: в ней все должно иметь свое место и время; царь, говоря о потехе, напоминает своим сокольникам: «Правды же и суда и милостивые любве и ратнаго строя николиже позабывайте: делу время и потехе час». Таким образом, страстно люби мая царем Алексеем забава для него все-таки только забава и не должна мешать делу. Он убежден, что во все, что бы ни делал человек, нужно вносить порядок, «чин». «Хотя и мала вещь, а будет по чину честна, мерна, стройна, благочинна, – никто же зазрит, никто же похулит, всякий похвалит, всякий прославит и удивится, что в малой вещи честь и чин и образец положен по мере». Чин и благоустройство для Алексея Михайловича – залог успеха во всем. «Без чина же всякая вещь не утвердится и не укрепится; бесстройство же теряет дело и восставляет безделье», – говорит он. Поэтому царь Алексей Михайлович очень заботится о порядке во всяком большом и малом деле. Он только тогда бывал счастлив, когда на душе у него было светло и ясно, и кругом все было светло и спокойно, все на месте, все по чину. Об этом-то внутреннем равновесии и внешнем порядке более всего заботился царь Алексей,

мешая дело с потехой и соединяя подвиги строгого аскетизма с чистыми и мирными наслаждениями. Такая непрерывно владевшая царем Алексеем забота позволяет сравнить его (хотя аналогия здесь может быть лишь очень отдаленная) с первыми эпикурейцами, искавшими своей «атараксии», безмятежного душевного равновесия, в разумном и сдержанном наслаждении.

До сих пор царь Алексей Михайлович был обращен к нам своими светлыми сторонами, и мы ими любовались. Но были же и тени. Конечно, надо счесть показным и неискренним «смирением паче гордости» тот отзыв, какой однажды дал сам о себе царь Никону: «А про нас, изволишь ведать, и мы, по милости Божий и по вашему святительскому благословению, как есть истинный царь христианский наричюся, а по своим злым мерзким делам недостоин и во псы – не токмо в цари!» Злых и мерзких дел за царем Алексеем современники не знают; однако иногда они бывали им недовольны. В годы его молодости, в эпоху законодательных работ над Уложением (1649 г.), настроение народных масс было настолько неспокойно, что многие давали волю языку. Один из озлобленных реформами уличных озорников Савинка Корепин болтал на Москве про юного государя, что царь «глядит все изо рта у бояр Морозова и Милославскаго: они всем владеют, и сам государь все это знает да молчит». Мысль, что царь «глядит изо рта» у других, мелькает и позднее. В поведении Коломенского архиепископа Иосифа (1660-1670 гг.) вскрывались не раз его беспощадные отзывы о царе Алексее и боярах. Иосиф говаривал про великого государя, что «не умеет в царстве никакой расправы сам собою чинить, люди им владеют», а про бояр – что «бояре – Хамов род, государь того и не знает, что они делают». В минуты большого раздражения Иосиф обзывал Алексея Михайловича весьма презрительными бранными словами, которых общий смысл обличал царя в полной неспособности к делам. Встречаясь с такими отзывами, не знаешь, как следует их истолковать и как их можно примирить со многими свидетельствами о разуме и широких интересах Алексея Михайловича. «Гораздо тихий» царь был ведь тих добротой, а не смыслом; это ясно для всех, знакомых с историческим материалом. Только пристальное наблюдение открывает в натуре царя Алексея две такие черты, которые могут осветить и объяснить существовавшее недовольство им.

При всей своей живости, при всем своем уме царь Алексей Михайлович был безвольный и временами малодушный человек. Пользуясь его добротой и безволием, окружавшие не только своевольничали, но забирали власть и над самим «тихим» государем. В письмах царя есть удивительные этому доказательства. В 1652 г. он пишет Никону, что дворецкий князь Алексей Мих. Львов «бил челом об отставке». Это был возмутительный самоуправец, много лет безнаказанно сидевший в приказе Большого дворца. Царь обрадовался, что можно избавиться от Львова, и «во дворец посадил Василия Бутурлина». С наивной похвальбой он сообщает Никону: «а слово мое ныне во Дворце добре страшно, и (все) делается без замотчанья!» Стало быть, такова была наглость князя Львова, что ему не страшно казалось и царское слово, и так велика была слабость государя, что он не мог сам избавиться от своего дворецкого! После этого примера становится понятным, что около того же времени и ничтожный приказный человек Л. Плещеев мог цинично похваляться, что «про меня де ведает государь, что я зернщик (т. е. игрок)!… у меня де Москва была в руке вся, я де и боярам указывал!». В упоминании государя Плещеевым мелькает тот же намек на отсутствие страха перед государевым именем и, словом, как и в наивном письме самого государя. Любопытно, что придворные и приказные люди не только за глазами у доброго царя давали себе волю, но и в глаза ему осмеливались показывать свои настроения. В походе 1654 г. окружавшие Алексея Михайловича, по его словам в письме кн. Трубецкому, «едут с нами отнюдь не единодушием, наипаче двоедушием, как есть облака: иногда благопотребным воздухом и благонадежным и уповательным явится; иногда зноем и яростию и

ненастьем всяким злохитренным и обычаем московским явятся; иногда злым отчаянием и погибель прорицают; иногда тихостью и бедностью лица своего отходят лукавым сердцем… А мне уже, Бог свидетель, каково становится от двоедушия того, отнюдь упования нет!» При отсутствии твердой воли в характере царя Алексея он не мог взять в свои руки настроение окружающих, не мог круто разделаться с виновными, прогнать самоуправца. Он мог вспыхнуть, выбранить, даже ударить, но затем быстро сдавался и искал примирения. Он терпел князя Львова у дел, держал около себя своего плохого тестя Милославского, давал волю безмерному властолюбию Никона – потому, что не имел в себе силы бороться ни с служебными злоупотреблениями, ни с придворными влияниями, ни с сильными характерами. Не истребить зло с корнем, не убрать непригодного человека, а найти компромисс и паллиатив, закрыть глаза и спрятать, как страус, голову в куст – вот обычный прием Алексея Михайловича, результат его маловолия и малодушия. Хуже всего он чувствовал себя тогда, когда видел неизбежность вступить открыто в какое-либо неприятное дело. Малодушно он убегал от ответственных объяснений и спешил заслониться другими людьми. Сообщив Никону в письме о неудовольствиях на него, существующих среди его окружающих, царь сейчас же оговаривается: «И тебе бы, владыко святый, пожаловать – сие писание сохранить и скрыть втайне!… да будет и изволишь ему (жалобщику) говорить, и ты, владыко святый, говори от своего лица, будто к тебе мимо меня писали (о его жалобах)». Желание стать в стороне стыдит, по-видимому, самого Алексея Михайловича, и он предлагает Никону отложить объяснение с недовольным на него боярином до Москвы. «Здесь бы передо мною вы с очей на очи переведались», – предлагает он, разумеется, в надежде, что время уничтожит остроту неудовольствии и смягчит врагов до очной ставки. Душевным малодушием доброго государя следует объяснить его вкус к письменным выговорам: за глаза можно было написать много и сильно, грозно и красиво; а в глаза бранить трудно и жалко. В глаза бранить кого-либо царю Алексею было можно только в минуты кратковременных вспышек горячего гнева, когда у него вместе с языком развязывались и руки.

Итак, слабость характера была одним из теневых свойств царя Алексея Михайловича. Другое его отрицательное свойство легче описать, чем назвать. Царь Алексей не умел и не думал работать. Он не знал поэзии и радостей труда и в этом отношении был совершенной противоположностью своему сыну Петру. Жить и наслаждаться он мог среди «малой вещи», как он называл свою охоту и как можно назвать все его иные потехи. Вся его энергия уходила в отправление того «чина», который он видел в вековом церковном и дворцовом обиходе. Вся его инициатива ограничивалась кругом приятных «новшеств», которые в его время, но независимо от него стали проникать в жизнь московской знати. Управление же государством не было таким делом, которое царь Алексей желал бы принять непосредственно на себя. Для того существовали бояре и приказные люди. Сначала за царя Алексея правил Борис Ив. Морозов, потом настала пора кн. Никиты Ив. Одоевского, за ним стал временщиком патриарх Никон, правивший не только святительские дела, но и царские; за Никоном следовали Ордин-Нащокин и Матвеев. Во всякую минуту деятельности царя Алексея мы видим около него доверенных лиц, которые правят. Царь же, так сказать, присутствует при их работе, хвалит их или спорит с ними, хлопочет о внешнем «урядстве», пишет письма о событиях – словом, суетится кругом действительных работников и деятелей, Но ни работать с ними, ни увлекать их властной волей боевого вождя он не может.

Добродушный и маловольный, подвижный, но не энергичный и не рабочий, царь Алексей не мог быть бойцом и реформатором. Между тем течение исторической жизни поставило царю Алексею много чрезвычайно трудных и жгучих задач и внутри, и вне государства: вопросы экономической жизни, законодательные

и церковные, борьба за Малороссию, бесконечно трудная, – все это требовало чрезвычайных усилий правительственной власти и народных сил. Много критических минут пришлось тогда пережить нашим предкам, и все-таки бедная силами и средствами Русь успела выйти победительницей из внешней борьбы, успевала кое-как справляться и с домашними затруднениями. Правительство Алексея Михайловича стояло на известной высоте во всем том, что ему приходилось делать: являлись способные люди, отыскивались средства, неудачи не отнимали энергии у деятелей; если не удавалось одно средство – для достижения цели искали новых путей. Шла, словом, горячая, напряженная деятельность, и за всеми деятелями эпохи, во всех сферах государственной жизни видна нам добродушная и живая личность царя Алексея. Чувствуется, что ни одно дело не проходит мимо него: он знает ход войны; он желает руководить работой дипломатии; он в думу Боярскую несет ряд вопросов и указаний по внутренним делам; он следит за церковной реформой; он в деле патриарха Никона принимает деятельное участие. Он везде, постоянно с разумением дела, постоянно добродушный, искренний и ласковый. Но нигде он не сделает ни одного решительного движения, ни одного резкого шага вперед. На всякий вопрос он откликнется с полным его пониманием, не устранится от его разрешения; но от него совершенно нельзя ждать той страстной энергии, какой отмечена деятельность его гениального сына, той смелой инициативы, какой отличался Петр.